

Иван Сергеевич Шмелев
Рассказы



Вуанкoвo пoлe

Annotation

•

Рассказ следователя

I

Скоро семь лет, как выбрался я оттуда, и верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и — невдолге.

«Невдолге», конечно, относительно: случившееся с нами — исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я — «Фома», и не прикрываюсь. "Могий вместити..." — но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее.

Живя там, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я — судебный следователь по особо важным делам... был когда-то.

В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно-земном, — человеческая душа, и следственные приемы те же, с поправкой на некое "неизвестное". А в уголовных делах — все известно?.. Не раз, в практике следователя, чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел поработанных ею и, что редко, духовное торжество преодоления.

Знамения там были, несомненно. Одно из них, изумительное по красоте духовной и историчности, произошло на моих глазах, и я сцеплением событий был вовлечен в него: на-вот, "вложи персты". Страдания народа невольно дополняли знаменные явления... — это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую Правду?! Расстаться с верой в

нее православный народ не может почти фи-зи-чески, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он зывал... — и ему подавались знаки.

На-род, говорю... православный, русский народ. Почему выделяю его из всех народов? Не я, — Исто-рия. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив: заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. "Умнейший в России человек", — сказал о нем Николай I.

А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, — своего рода мой коллега, "исследователь по особо важным делам". Вы читали его книги, помните его "о борьбе со злом", удар по «непротивлению» Толстого. В этом письме он пишет: "...Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании, — да славится в нас Воскресение Христово!.."

Эти слова я связал бы с известными словами о народе — Достоевского, с выводом из истории — Ключевского. Помните, про исключительное свойство нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть после военных поражений? Связал бы в "триптих русской духовной мощи".

Я расскажу вам не из истории, а из моих "документов следствия". Ими сам же себя и опрокинул, — мои сомнения.

Народу подавались знаки: обновление куполов, икон... Это и здесь случалось, на родине Декарта, и «разумного» объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать: это — вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшее в них — неутолимая жажда Правды и нетленная красота души. Вот эта "неутолимая жажда Правды" и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где в целом мире найдете вы такую "жажду Правды"? В этом портфеле имеются "вещественные доказательства", могу предъявить. Как маловвер, я применил к «явлению», о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия.

Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву... — так сказать, качество моя была оценена... — знаю людские свойства, и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет, круг показаний тесный, главные лица — нашего с

вами толка, а из народа — только один участник, и его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно значительно в «явлении»... это — духовно-историческое звено из великой цепи родных событий, из далей — к ныне, свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы.

Первое действие — на Куликовом Поле.

II

Куликово Поле... — кто же о нем не слышал! Великий Князь Московский Димитрий Иванович разбил Мамай, смертельно шатнул Орду, потряс давившее иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово Поле? Где-то в верховьях Дона?.. Немногие уточняют: в Тульской губернии, кажется?..

Да: на стыке ее с Рязанской, от Москвы триста с небольшим верст, неподалеку от станции Астапово, где трагически умирал Толстой, в тургеневских местах, знаемых по "Запискам охотника".

А кто удосужился побывать, ощупать, где, по урочищам, между верховьями Дона и Непрядвой, совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кой-что скажут. Воистину, — "ленивы мы и нелюбопытны".

Я сам, прожив пять лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в ста семнадцати верстах от станции Куликово Поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать, воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать-подумать... Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал свою родину, не изездил, не исходил!.. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светло-Яра... ни Ростова Великого не видал, "красного звона" не слышал, единственного на всю Россию!..

Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомящим этот "аккорд небесный", подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея... — жив ли еще "аккорд"?..

Не побывал и на Бородинском Поле, в Печерах, Изборске, на Белоозере. Не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого... ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами-цветами, собора XI века во Владимире-на-Клязьме... Ни древнейших наших обитателей не знаем, ни летописей не видали в глаза, даже родной истории не знаем путно, Иваны Непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули — и как качнули!.. Знали избитую дорожку — "по Волге", "на Минерашки", "в Крым". И, разумеется, "за границу". В чужие соборы шли, все галереи истоптали, а Икону свою открыли перед самым провалом в ад.

Проснешься ночью, станешь перебирать, всякие запахи вспомнешь... — и защемит-защемит. Да как же ты Север-то проглядел, погосты, деревянную красоту поющую — церквушки наши?! А видел ли российские каналы — великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга?.. А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного Патриарха Гермогена? А как же?.. Не спорьте и не оправдывайтесь... это кричит во мне! А если кричит, — правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово Поле.

Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся: «явлением» мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле, под чужим именем: меня искали, как "кровопийцу народного". И вот, один мукомол-мужик, — «кулак», понятно, — из Старо-Юрьева, под Богоявленском, как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать... — словом, я его спас от возможной каторги, обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, — тоже, понятно, "кровопийца", — и проживал при станции Волово, по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю-туляку: "Доставь спасителю моему". И я получил записочку: "По случаю голодаете, пребудьте экстрено, оборудуем". Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику "явления".

Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал, и поехал, чтобы — думалось, так, — сбросить владевшее мною оцепенение

безысходности... пожалуй, и из признательности к моему «должнику», тронувшего меня во всеобщей ожесточенности.

Приехал в замызганной поддевке, мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника "действия первого". Он ютился с внучатами у того "кровопийцы"-мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, все кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале «явления». Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло «явление», для меня.

Думаю теперь: как бы указано было мне поехать, и не только, чтобы сделать меня участником «явления», исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?..

III

Случилось это в 25 году, по осени.

Василий Сухов, — все его называли Васей, хотя был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто-детское, — служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Ахлябшевых.

По соседству с этим имением лежало Княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Ахлябшевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского: дружинник этот бился на Куликовом Поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое Княжье тем же купцам на усадьбу в Туле, с большим яблонным садом. Отметьте это, о Средневе: речь о нем впереди.

Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии, вблизи Куликова Поля. А Княжье, по каким-то приметам стариков, — отголосок предания? — лежало "на самом Поле". Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат, после сыновей: одного сына на войне убили, другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться.

Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк, на станцию Пгань, к дочери, которая была там за телеграфистом: крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб, — был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Дмитриевскую, в канун Дмитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Дмитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, — давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Дмитриевская суббота установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, и вообще усопших, и потому называется еще родительская.

Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, — до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый: Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот — Куликово Поле.

В точности не известно, где граница давнего Куликова Поля; но в народе хранятся какие-то приметы: старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховский свежий отряд берег, дожидаясь нетерпеливо часа — ударить Мамаю в тыл, когда тот погнался к реке.

Помните, у Карамзина, — "мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня..."? Помните, как Преподобный Сергей, тогда игумен Обители Живоначальныя Троицы, благословил Великого Князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: "ты одолеешь"? Дух его был на Куликовом Поле, и отражение битвы видимо ему было за четыреста с лишком верст, в Обители, — духовная телевизия.

По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это "на самом Куликовом Поле".

Голые поля, размытые дороги полны воды, какие-то буераки, рытвины. Гонит, ни о чем, понятно, не думает, какие же тут «мамаи», крупу бы не раструсить, за пазуху засунул... — трах!.. — чуть из седла не вылетел: конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое?.. К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал... — нет: пятится и храпит.

Глянул через коня, видит: полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. "Чего бояться?.." — подумал Сухов: вся дорога в таких колдобинах, эта поболее только. Пригяделся... — что-то будто в воде мерцает... подкова, что ли?.. — бывает, "к счастью". Не хотелось с коня слезать: какое теперь счастье! Пробует завернуть коня, волю ему дает, — ни с места: уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся, — ни-как. Не по себе стало Сухову, подумалось: может, змею чует... да откуда гадюке быть, с мученика Автонома ушли под хворост?..

Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил... медный крест! И стало повеселей на душе: святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь и не шелохнется, "как ласковый". Смотрит Сухов на крест, видать, старинный, зеленью-чернотой скипелось, светлой царапиной мерцает, — кто-то, должно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было: пробивали в распутицу, кто где вздумал, — грунтовая под лесом шла.

Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом, видит — литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину-историю, а тут самая-то история, Куликово Поле, ходил с рабочими покопать на счастье, — какую-нибудь диковинку и найдет: бусину, кусок кольчуги серебряной... золотой раз перстень с камушком откопали, а раз крупную бляху нашли, татарскую, — месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, больше пятисот лет сошло. Сухов подумал: и крест этот, может, от той поры: земля — целина, выбили вот проезжие в распутицу.

Стал крест разглядывать. Помене четверти, с ушком, — наперсный; наось — ясный рубец, и погнуто в этом месте: секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина: порадовался бы такой находке... да нет его. И тут в мысли ему пришло: барину переслать бы, редкости тоже собирал, с барышней копал... она и образа пишет, — какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом.

Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухов уйти к нему, стало в деревне беспокойно, пошли порубки, а

барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев Посад: там потише. А теперь везде одинаково: Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи Преподобного... Го-споди!.. — в музей поставили, под стекло, плумиться.

Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуют, в острой боли ему представилось, что все погибло, и ни за что.

"Обидой обожгло всего... — рассказывал он, — будто мне сердце проколото, и стала во мне отчаянность: внуки малые, а то, кажется, взял бы да и..."

Опомнился — надо домой спешить. Дождь перестал. Смотрит — с заката прочищает, багрово там.

Про крест подумал: суну в крупу, не потеряется. Полез за пазуху... "И что-то мне всердце толкнуло... — рассказывал он, с радостным лицом, — что-то как затомилось сердце, затрепыхалось... дышать трудно..."

IV

"Гляжу — человек подходит, посошком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тот человек мне надобен".

По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая борода, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, "будто самого родного встретил". Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал: "Здравствуйте, батюшка!" Подойти под благословение воздержался: благодатного ли чину? До слова помнил тот разговор со старцем, — так называл его.

Старец ласково "возгласил, голосом приятным":

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир ти, чадо.

От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца... — повеяло на Сухова покоем.

Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждения не вдавался. Сказал только, что стало ему приятно-радостно, и — "так хорошо поговорили". Только смутился словно, когда сказал: "Такой лик, священный... как на иконе пишется, в себе сокрытый". Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности, — такие встречаются в народе.

Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал:

— Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешься, чадо?

Сухов определял, что старец говорил "священными словами, церковными, как Писание писано", но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест: было это в дождливой мути, один на один с конем, старца и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, — как бы переслать крест барину. Так и объяснял Сухов:

— Пожалел меня словно, что у меня мысли растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест... — сказал-то: "чесо же смущаешься, чадо?"

Сказал Сухов старцу:

— Да, батюшка... мысли во мне... как быть, не знаю.

И рассказал, будто на духу, как все было: что это, пожалуй, старинный крест, выбили с-под земли проезжие, а это место — самое Куликово Поле, тут в старинные времена битва была с татарами... может, и крест этот с убиенного православного воина; есть словно и отметина — саблей будто посечено по кресту... и вот, взяло раздумье: верному бы человеку переслать, сберег чтобы... а ему негде беречь, время лихое, неверное... и надругаться могут, и самого-то заматают, пристани верной нет: допрежде у господ жил, потом у купцов... — "а нонче, — у кого и живу — не знаю".

И когда говорил так старцу, тесно стало ему в груди, от жалости к себе, и ко всему доброму, что было... — "вся погибель наша открылась..." — и он заплакал.

Старец сказал — "ласково-вразумительно, будто хотел утешить":

— Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень — знамение Спасения.

От этих священных слов стало в груди Сухова просторно — "всякую тягость сняло". И он увидел: светло кругом, сделалось поле

красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это — багровый свет. Спросил старца: "Далече идете, батюшка?"

— Вотчину свою проведать.

Не посмел Сухов спросить — куда. Подумал: "Что я, доследчик, что ли... непристойно доспрашивать, скрытно теперь живут". Сказал только:

— Есть у меня один барин, хороший человек... ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, самого Куликова Поля старое их имение было. В Сергиев осад отъехал, у Троицы, там, думалось, потише... да навряд. Старец сказал:

— Мой путь. Отнесу благовестие господину твоему. Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, — "будто бы так и надо". Сказал старцу:

— Сам Господь вас, батюшка, послал... только как вы разыщете, где они на Посаде проживают?... Скрытое ноне время, смутное. Звание их — Егорий Андреич Среднев, а дочку их Олей... Ольгой Егорьевной звать, и образа она пишет... только и знаю.

— Знают на Посаде. Есть там нашего рода.

Радостью осияло Сухова — "как светом-теплом согрело" — и он сказал:

— Уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите... скажите: кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик... они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете... ночь подходит? Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу... время лихое ноне, обидеть могут... и церковь у нас заколотили.

Старец ласково посмотрел на Сухова, — "весело так, с приятностью", и сказал ласково, как родной:

— Спаси тя Христос, чадо. Есть у меня пристанище. Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок, на мягкое.

— Как хорошо-то, батюшка... Господь дал!.. — радостно сказал Сухов: не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось: — Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось... почтой послать — улицы не знаю... и доспрашивать еще станут, насмеются... — да где, скажут, взял... да не церковное ли утаил от них... — заканителя, нехристи.

Сказал старец:

— Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

И помолился на небо.

— Господь с тобой. Поезжай. Скоро увидимся.

И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки.

Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, — плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца — "увидимся", — знал, что недолго ему осталось жить? И правда: рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со «встречи» не протекло и года. По тону его рассказа... — словами он этого не обнаружил — для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостойности своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно.

В этом "первом действии" нет ничего чудесного: намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал как сущее, "в себе скрытое", — так прикровенно определил он "священный лик". Вот — простота приятия верующей душой. Во "втором действии", в Сергиевом Посаде, «приятие» происходит по-другому: происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием, и, в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно: празднуется победа над злейшим врагом - неверием.

V

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом Поле не оставил во мне чувства, что было ему явление, а просто — «случай», странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов, простой православный человек, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда должна восторжествовать над злом... иначе для него не было никакого смысла и строя в жизни: все рушится?!. Нет, все в нем протестовало, инстинктивно. Он не мог не верить, что

правда скажется. Он — подлинная суть народа: "Правда не может рушиться". И так естественно, что «случай» на Куликовом Поле мог ему показаться знамением свыше, знамением спасения, искрой святого света во тьме крошечной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить «явление», и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски-доверчиво.

Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в Волове. Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками «случая», и мне открылось, что тут не «случай», а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом.

Знамение свыше... — это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного, и я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки... — какая может быть в человеке красота!.. — я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие, и, неожиданно для себя, разрушил последнее сомнение цеплявшегося за «логику» "Фомы"-интеллигента.

Не передать, что испытывал я тогда: это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное: я привлечен к раскрытию необычайного... привлечен Высшей Волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый... — выразить я бессилён. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени не стало... века сомкнулись... будущего не будет, а все — ныне, — и это меня не удивляет, это в меня вместились?! Я принял это как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения этого, но опалившего душу озарения... — передать это невозможно.

Жизнь в Туле, призрачная, под чужим именем "мещанина Подбойкина", под непрерывным страхом, что сейчас и разоблачат, и... — стала невмоготу.

Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга — раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь «кровопийца». Могли мне вменить многое: приезд Плеве, по делу убийства губернатора... раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча, важный правительственный чин, счастливо избег кары... Я делал свое дело.

Но вот какая странная вещь... Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение восьми лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска!

Возможно, тут работала моя «психология»: здесь-то меня искать не станут, в районе моих «злодейств», и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла.

Боялся смерти? Нет, худшего: страх за дочь, издевательства... и, что иным покажется непонятным, — полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это своего рода "порок профессиональный", мистическое нечто. Словом, оцепенение и «пробка».

Самое, кажется, простое — ехать в Москву, острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья-коллеги, уцелевшие от иродова меча, мог бы найти нейтральное что-нибудь, предложил бы полезный курс — "психология и приемы следствия", надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал, сидела «пробка». И вот, оказалось, что мое сиденье в Туле было «логично», только не нашей логикой.

Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармоньи. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула издавна музыкальный город: славен гармоньями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия — "на верти-пьяных"! Все желают "выигрывать на верти-пьяных разные польки и романцы". И выпало

нам «счастье»: навязалась моей Надюше... «Клеопатра». И по паспорту — Клеопатра, а разумею в кавычках, потому-что сожительствовала она с «Антошкой». Так и говорили — "Антошка и Клеопатра". А «Антошка» этот был не кто иной, как важная птица Особ-Отдела, своего рода мой коллега... Бывший фельдшер. И вот, эта «Клеопатра», красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую «Купчиху», такая же белотелая и волоокая... глупое и предобрейшее существо — походя пряники жевала и щелкала орешки — и навязалась: "ах, выучите меня на верти-пьяных!.."

Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был — чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот — "на верти-пьяных". Забылась как-то, с Шопеном замечталась... и вдруг, ревом по голове: "Лихо наяриваете, ба-рышня!" «Антошка», во всей красе, с наганом. А «Клеопатра», в слезах восторга: "Выучите, ради Господа, и меня такому!" Все-таки польку одолела, могла стучать; и была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, "папашке вашему табачку", то-се... С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим... — не проходило в плотку. А нужды кругом!.. Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше уж картузами, гармошками...

Тошно, гнусно, безвыходно... — и при моем-то «ясновидении». В глазах народа я был «гадателем», так и говорили: "Нашего следователя не обведешь, сквозь землю на три аршина видит!" И такое бессилие: засела «пробка». И в Волово-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту «пробку», а мукомол советовал: "Нырятьте, Сергей Николаич, в Москву — большая вода укроет". Но «пробка» сидела и сидела. Или — так нужно было? Чего-то не хватало?.. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было.

Вскоре после поездки моей в Волово в начале мая, приходит моя Надюша, остановилась у косяка... и такими страшными, неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит на меня и шепчет: "папа... конец..." Это — конец — прошло мне холодом по ногам. Да, конец: пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, "если оно случится". И оно случилось: "все известно". Но самое страшное не

это, не мытарства, если бы не удалось нам уйти: самое страшное — позор.

В то утро мая «Клеопатра» разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу: "А что вы думаете, мой-то все-о про вашего папаньку знает, как у трудящих засуживал... но вы не бойтесь, и папанька чтобы не боялся... мой для меня все сделает, так и сказал: "Я его на высокую должность возьму, как раз по нем, засуживать... в помощники при себе возьму, в заседатели, а то все негодящие, дела спят..." и жалованье положит, и еще будет натекает, будете жить как люди". Это уж после Надюша мне передала, а тогда только — "все известно". И тут — вышибло мою «пробку»... в Москву!.. Сейчас же в Москву!.. Это при "все известно"-то!.. При зверском контроле на вокзале!.. Как новичок-воришка... вся «логика», весь мой следовательский опыт испарились.

Сказал Надюше самое необходимое собрать, шепчу: "Есть выход... Москва — выход!.." Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал — поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращаю внимание... — одно в уме, зываю: "Господи, помоги..." И уже вижу какую-то возможность: в Москве Творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, "без предрассудков", после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его.

Вбегаю на вокзал, задохся, спрашиваю про поезд, а мне кто-то шипит грозяще: "Ка-ак вы здесь?.. Вон!.. Комиссия отъезжает, Рабкрин!" Рабоче-крестьянская инспекция! Гром и огонь!.. Все может!.. Страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там... «губернатор» наш, тянется, и вышние из Особ-Отдела, с наганами... кошмар!.. И вдруг: "Сергей Николаич... вы как здесь?"

Он!.. Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится. Но уточнять не буду, примите за "случайность".

Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил: "Устроены?" Я ему — только: "В Москву... необходимо". Молниеносно понял, вынул бланчок и тут же, на портфеле: "Явиться немедленно, в распоряжение..." — отмычка ко

всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал после стольких годов удушья. Словом — счастливый случай".

VII

В Москве я устроился нейтрально — по архивам: разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела, в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде... и в середине августа выехал в Загорск, переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал, случай на Куликовом Поле выпал из памяти, а хотелось увидеть Лавру, толкнуло к «Троице».

Что, собственно, толкнуло?.. Работавшие по архивам часто говорили о «Троице»: там ютилось много известных бывших людей; В. Розанов, А. Александров. Л. Тихомиров, работали в относительной тиши художники, навещался Нестеров, решал перелом жизненного пути С. Булгаков, в беседах с Павлом Флоренским... Нестеров написал с них любопытную картину: дал их "в низине", а по гребешку «троицкой» мягкой горки в елках изобразил символически "поднявшихся горе"... — русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки "Святого Града" — Троицы-Сергия...

Когда все было — не собрался, а тут — погляди остатки. И я поглядел эти остатки. И увидал — нетленное. Но в каком обрамлении! В каком надрывающем разломе!.. Не повидал при свете — теперь посмотри во тьме.

Приехал я в Загорск утром. Уже не Сергиево, а Загорск. И первое, что увидел, тут же, на станционной платформе: ломается дурак-парнишка, в кумачовой ризе, с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги... коренником: с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка горшок в бечевках — «кадило»; у монашки ряска располосована, все видать, затылок бритый, а в руке бутылка с водкой — "святой водой". И эта троица вопит-визжит: "Товарищи!.. Все в клуб безбожников, к обедне!.. В семнадцать вечера доклад товарища Зме-я из Москвы!.. "Обман-леторгия у попов-монахов"!.. Показание бывшего монаха-послушника!.." И не смотрят на дураков, привыкли.

Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка — и вот, лезет из лопухов-крапивы кудлатая голова и рычит: "Обратите антелегентовое внимание, товарищ!.. Без призвания прозябаю... бывшему монаху-канонарху!.." Отмахнул портфелем, а он горечью на меня, рычит: "Антелегентовы плевелы!.. Из-за вас вот и прем в безбожники!.."

И тут увидал я солнечно-розовую Лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал... Сколько пережила она за свои пять веков! Сколько светила русским людям!.. Она светилась... — и, знаете, что почувствовал я тогда, в тихом, что-то мне говорившем, ее сиянии?.. "Сколько еще увидит жизни!.." Поруганная, плененная, светилась она — нетленная. Было во мне такое... чувство ли, дума ли: "Все, что творится, — дурманый сон, призрак, ненастоящее... а вот это — живая сущность, творческая народная идея, завет веков... это — вне времени, нетленное... можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется..." Высокая розовая колокольня, "свеча пасхальная", с золотой чашей, крестом увенчанной... синие и золотые купола... — не грустью отозвалось во мне, а светило.

Впервые тогда за все мутные и давящие восемь лет почувствовал я веру, что — есть защита, необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем — опора. Помню, подумал тут же: "Вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защиты и опоры".

VIII

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на лаврскую площадь, вижу: ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные, и так, с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и "антирелигиозный музей". Неподалеку от святых ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане-посадские. И вдруг слышу, за кучкой, мучительно-надрывный выкрик:

— Абсурд!.. Аб-сурд!!.. — Потом — невнятное бормотанье, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики

Шульца и Ходобая уложенные в стихок предлоги: "антэ-апуд-ад-адверзус..."; и снова, с болью, с недоумением:

— Абсурд!.. Аб-сурд!!.

Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это. Он косится на мой портфель и говорит уклончиво:

— Так-с... выпустили недавно, а он опять на свое место, к Лавре. Да он невредный.

Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку, болтаются вприпрыжку, и он неточно гнусит:

— Товарищ-комиссар, купите... — раков!.. — гадости говорит и передразнивает кого-то. — Абсурд!.. Аб-сурд!! — прямо бедлам какой-то.

И тут, монастырские башенные часы — четыре покойных перезвона, ровными переливами, — будто у них свое, — и гулко-вдумчиво стали отбивать — отбили — 10. И снова: "Абсурд!.. Аб-сурд!?"

Я подошел взглянуть.

На сухом навозе сидит человек... в хорьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый с загара, запекшийся; отличный череп — отполированный до блеска, старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно-напряженное, с приятными, тонкими чертами русского интеллигента-ученого; остренькая, торчком, борода, и... золотое пенсне, без стекол; шуба на нем без воротника, вся в клочьях, и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами, и с болью, с мучительнейшим надрывом, из последней, кажется, глубины, выбрасывает вскриком: "Абсурд!.. Аб-сурд!!." Я различаю в бормотанье, будто он с кем-то спорит, внутри себя:

— Это же абсолют-но... импоссибиле!.. Аб-солю-тно!.. Аб-солю-тно!! Это же... контрадикцию!.. "Антэ-апуд-ад-ад-верзус..." абсолют-тно!.. Абсурд!.. Аб-сурд!..

Бородатые мужики с кнутьями, — видимо, приехавшие на базар крестьяне, — глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу сторожкий шепот:

— Вон чего говорит, "ад отверзу"!.. «Об-со-лю!»! Чего говорит-то.

— Стало-ть уж ему известно... Какого-то Абсурду призывает... святого может.

— Давно сидит и сидит — не сходит с своего места... ждет... Ему и открывается, такому...

Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно:

— Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской вакадемии, ученый примандацент, в мыслях запутался, юродный вроде... Да он невредный, красноамрейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего... хлебца подают. А, конечно, которые и антересуются, по темноте своей, деревенские... не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидаются... которые, конечно, без пропаганды-образования.

Вот как встретил меня Сергиев Посад.

IX

Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел, не мог. Успею побывать в подкомиссии архивной. Потянуло в «завод», в тихие улочки Посада. Тут было все по-прежнему.

Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я — человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе-тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня Лавры за садами. Увидал в садике цветы: приятные георгины, астры, петунии... кто-то, под бузиной, в лонгшезе, в чесучовом пиджаке, читает толстую книгу, горячим вареньем пахнет, малиновым...

Подумалось: "А хорошо здесь, тихо... читают книги... живут..." Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта... художники стреляли галок, для пропитания, писали свои картины Виноградов, Нестеров... приехал из нашей Тулы барин Среднев... — "там потише", вспомнилось словечко Сухова... — рассказ его тут-то и выплыл из забвения.

В грусти бесцельного блуждания нашел отраду — не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю — донес ли ему старец крест с Куликова Поля. У кого бы спросить?.. И вижу: сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадке помечает, и на лавочке стопа книг.

Извиняюсь, спрашиваю: не знает ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17 году. Любезно отвечает, без недоверия:

— Как же, отлично знаю Георгия Андреевича... благополучно переживает... книгами одолжаемся взаимно.

Знакомимся: "бывший следователь..." "бывший профессор Академии..." Среднев проживает через два квартала, голубой домик, покойного профессора... друга Василия Осиповича Ключевского.

— Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской линька, бывало, вываживал на сачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал!.. Какие беседы были, споры... — все кануло. В Лавре были?.. Понимаю, понимаю... трудно. "Абсурд"?.. Наш бедняга Сергей Иваныч, приват-доцент... любимый ученик Василия Осиповича... не выдержал напора... "абсурд" помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом, о себе, а наш Иов мучается за всех и за вся. Не может принять, как абсурд, что "ворота Лавры затворились и лампы... погасли".

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выплянуло встревоженное ласковое лицо среброволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился.

— Василий Степаныч, не волнуйся так... тебе же вредно, дружок... — сказала она ласково-тревожно и спряталась.

— Да-да, голубка... — ласково отозвался профессор и продолжал, потише: — О нашем страшном теперь говорят, как об «апокалипсическом». Вчитываются в «Откровение». Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинником, с греческим. Сегодня как раз читаю... — указал он, карандашом, — 10 пл. ст. 6: "И клялся Живущим... что времени уже не будет..." — и дальше, про "горькую книгу". Не то, далеко еще до сего, если принимать

богодухновенность "Откровения". Времена, конечно, «апокалипсические», условно говоря...

Мы говорим, говорим... — вернее, говорит он, я слушаю. Говорит о "нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка..." — ссылается на Ключевского.

— Обновляем ли запас этот? Кто скажет — "нет! "? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш?.. История вскрыла его и утвердила. И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа — выпрямляться чудесно-быстро. Иссая ли «запас»? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего «абсурда», в народной толпе у раки Угодника было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иваныч спутал «залог», выражаясь этимологически-глагольной формой. Сейчас объясняюсь...

Снова милая старушка тревожно его остановила:

— Василий Степаныч, дружок... тебе же волноваться вредно, опять затеснит в груди..!

— Да-да, голубка... не буду... — покорно отозвался профессор. — Видите, какая забота, ласковость, теплота... и это сорок пять лет, с первого дня нашей жизни, неизменно. Этого много и в народе: душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. "Окаянство", — разве может оно — пусть век продлится! — вскрикнул Василий Степаныч, в пафосе, — истлить все клетки души и тела нашего!.. Клеточки, веками впитавшие в себя Бо-жие?! Вот это — аб-сурд!.. Призрачности, видимости-однодневке... не верьте! Не ставьте над духом, над православным духом — крест!.. "Аб-сурд!" — повторяю я!..

— Да Васи-лий Степаныч!.. — уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка.

— Да-да, голубка... я не буду, — жалея, отозвался профессор. — Сергей Иваныч... — продолжал он, понизив голос, — увидел себя ограбленным, обманутым, во всем: в вере, в науке, в народе, в... правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу. И прав. Но..! Он смешал «залог». Помните, у Ключевского?.. В его слове о Преподобном? Ну, я напомню. Но предварительно заявлю: православный народ сердцем знает: Преподобный — здесь, с ним... со всем народом, ходит по народу, сокрытый, — говорят здесь и

крепко верят. Раз такая вера, «запас» не изжит. Всё лишь испытание крепости «запаса», сейчас творится выработка «антитоксина». И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иваныч. "Залоги"?.. Да, спутал Сергей Иваныч, как многие. Все видимости «окаянства», всюду в России... — а Лавра — центр и символ! — "залог страдательный", и у Ключевского сказано в ином залоге.

Я не понял.

— Да это же так просто!.. — воскликнул Василий Степаныч, косясь к окошку. Ключевский — и весь народ, если поймет его речь, признает, — заключает свое «слово»: "Ворота Лавры Преподобного Сергия затвор *ятся* лампы пога *снут* над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его". Дерзните ли сказать, что "растратили без остатка"? Нет? Бесспорно, ясно!.. Мы все в страдании! Ныне же видим: ворота затвор *ены*, и лампы пога *шены*!.. Выражено в страдательном залоге! Страдание тут, насилие!.. И народ в этом неповинен. Свой "запас нравственный" он несет, и, в страдании, пронесет его и — сполна донесет до той поры, когда ворота Лавры растворятся, и лампы затеплятся... — залог дей-стви-тельный!.. Не так ли?..

Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: "Святая правда!.. Но не волнуйся же так, дружок".

Василий Степаныч обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало:

— Душно в комнатах... в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней.

Часы-кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: "Да, здесь еще живут". Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего "кустыгра".

— Все еще не привыкли к словолитню? Георгий Андреич работает в отделе кустарей-игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают... это, конечно, между нами... на дальний путь. Поэт сказал верно:

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль, -

Не им размыкать наше горе,
Развеять русскую печаль.

— Теперь не сказал бы... — заметил я, — тогда все же была свобода...

— Не все же, а была!.. — поправил меня профессор. — Гоголь мог ставить «Ревизора» на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить... Другой поэт, повыше, сказал лучше: "Камо пойду от Духа Твоего? И от Лица Твоего камо бегу?.." Так вот, через два квартала, направо, увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось — "Свободен от постоя", и — "Дом Действительного Статского Советника Профессора Арсения Вонифатиевича..." Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл провидчески — "живописная эпитафия"... и добавлял: "Жития его было..."

Шел я, приятно возбужденный, освеженный, — давно не испытывал такого. И колокольня Лавры светила мне.

X

Домик "Действительного Статского Советника" оказался обыкновенным посадским домиком, в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них «сердечками»; но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тут кто и ездил: на немощной дороге, в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась бляньем коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом, за развороченным забором, паслась коза на приколе. Подумал: ждать ли, и услышал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз хозяева: сегодня запоздали, получали в кооперативе давножданного сушеного судачка.

Узнали мы друг друга сразу, хоть я и поседел, а Среднев подсох и пооблысел, и, в парусинной толстовке, размашистый, смахивал на матерого партийца, Олечка его мало изменилась, — такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то

привлекательным... — наивно-детским. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались.

Разговор наш легко наладился. Средневу посчастливилось: приехав в Посад, он поместился у родственника-профессора; профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска — "Свободен от постоя" — оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему: иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки "Нового Времени" и "Московских Ведомостей", удочки в углу и портрет Ключевского на столе, с дружеской надписью: "Рыбак рыбака видит издалека".

На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом:

— "Все — в прошлом"! Картина, в Третьяковке: запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах, и ключница, на порожке... Так и мы, "на порожке"...

Олечка отозвалась из другой комнаты:

— Нет: все с нами, есть.

Сказала спокойно-утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос:

— Прошлого для нее не существует, а все вечно, и все — живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии...

В философии я профан, помню из Гераклита, что — "все течет...", да Сократ, что ли, изрек — "я знаю, что ничего не знаю". Но Среднев любил пофилософствовать.

— У ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш «абсурд», вызывавший в ней бурную реакцию, теперь несколько ее не подавляет, он вне ее. Вот, видели нашего "Иова на гноище"... его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет "о всех и за вся", как говорится...

— Не кощунствуй, папа! — крикнула Олечка с укором. — Ты же отлично знаешь, что это — не "как говорится"... Бедный Сергей Иванович как бы Христа ради юродивый теперь, через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему.

Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились. Но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться:

— Да, мужички по-своему понимают... и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес — свое. Сергей Иваныч путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: "На-ша традиция... на-ши традиции..." — а мужики свое слышат: "Наше отродится"! Недурно?..

— И они сердцем правы!.. — отозвалась Олечка. — Они правдой своей живут, слушают внутреннее в себе, и им открывается.

Я дополнил, рассказав, как из «ад-адверзус» они вывели "ад отверзу", а из «абсолютно» — «обсоллю». Среднев расхохотался.

— Чего тут смешного, папа!.. Верят, что "ад отворится", и все освободятся... и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, — "обсолится"!.. Только нужно истинную «соль», а не ту, которая величала себя — "солью земли".

Среднев поднял руки и помахал с ужимками.

Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный, вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова Поля.

— А вы откуда знаете?.. — удивился Среднев. Я объяснил. Он позвал Олечку.

— Для нее это чрезвычайно важно... она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился... Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и не рельефный, а изображение Распятия вытравлено, довольно тонко... несомненная старина. Возможно, что «боевой», от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то... саблей?.. Где посечено — зелень, а все остальное ясное.

— Ка-ак?! Ни черноты, ни окиси?.. — удивился я...

— Только где посечено... а то совершенно ясное.

Вошла Олечка, взволнованная: видимо, слышала разговор.

— Скажите... — сказал она прерывисто, с одышки, — все, что знаете... Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать — узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности... и не видит, как все его умствования ползут... А сами вы... верующий?

Я ответил, что — маловер, как все, тронутые "познанием".

— Маленьким земным знанием, а не "познанием...", — поправила она с жалеющей улыбкой.

— Да-а, «чердачок» превалирует!.. — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб, не без удовольствия.

— Скажите, что же говорил наш Вася... Сухов... как он говорил? Он не может лгать, он сердцем...

Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы.

Когда я кончил, она переспросила, в сильном волнении:

— Так и сказал — "священный лик"?.. "Как на иконах пишется... в себе сокрытый..."?!. Слышишь, папа?.. А я... что и сказала тогда?!.

Среднев пожал плечами.

— Что тут доказывать!.. — сказал он снисходительно усмешливо. — Почему не объяснять не-чудесным... тожеством восприятий?.. Бывают лица, особенно у старцев... скажу даже — лики... о-чень иконописные!.. Не "небесной же моделью" пользуются иконописцы, когда изображают лики?.. Тот же гениальный Рублев — свою Троицу?!.

Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уже равнодушен к «случаю», как старается показать: в его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о «встрече» на Куликовом Поле слушал он очень вдумчиво.

Заинтересованный происшедшим здесь, — тут, может быть, сказала и привычка к точности и проверке, — я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило — не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их: "По возможности точней, все, что припомните... иногда и мелкая подробность вскрывает многое". Будто я веду следствие... ну, может быть, машинально вышло, по привычке.

И вот, что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле.

Случилось это в конце прошлого октября, или — по новому стилю — в первых числах ноября.

Оба помнили, что весь день лил холодный дождь, "с крупой", — как и на Куликовом Поле! — но к вечеру прояснело и заглодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-ая годовщина «Октября», день был "насыщенный". Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: "Всем, всем, всем!!!" Совсюду било в глаза настоятельное предложение "показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября", всем решительно принять активное участие в массовой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в "Доме Октября", где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы.

Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача — в самый день празднования — всем совработникам, особого, сверх нормы, «гостинца» пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооперата, с 7 до 8: "Просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией, в 9-30".

Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, — "была в церкви", — но Среднев ходил с толпой по Посаду, — "часа два грязь месили под ледяным дождем". Уклониться никак нельзя, — бухгалтер! — заметили бы: "здесь всех знают". В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы.

Вернулись домой, усталые, часов около семи. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно, с соседнего пустыря. "Как и выйти со двора, — поправил Среднев, — забор на пустырь полуразвален". Оля поставила варить пшенную похлебку.

Слышали оба, как в Лавре пробило — 7.

Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг — кто-то постучал в ставню, палочкой, — "три раза, отдельно, точно свой". Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя: "Кто это?" К ним заходили редко, больше по праздникам, и всегда днем; те стучат властно и в ворота. Оля приоткрыла форточку... — постучали как раз в то самое окошко, где форточка! — и негромко спросила: "Кто там?.." Среднев через «сердечко» в ставнях ничего не

мог разобрать в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил "приятным голосом" — так говорил и Сухов:

— С Куликова Поля.

Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... — знает их!

Сердце у Олечки захолонуло, "будто от радости". Она зашептала в комнату: "Папа... с Куликова Поля!.. — и тут же крикнула в форточку — Среднее отметил — «радостно-радушно»: — Пожалуйста... сейчас отворю калитку!.." "И стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже", — добавил Среднев.

Небо пылало звездами, такой блеск... — "не видала, кажется, никогда такого". Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру в монашеской наметке, и — "очевидно, от блеска звезд", — вносил свое объяснение Среднев — лик пришельца показался ей "как бы в сиянии".

— Войдите-войдите, батюшка... — прошептала она, с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой — осветить.

Хрустело под ногами, от морозца.

Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа Рождества Богородицы и Спаса Нерукотворенного — по преданию из опочивальни Ивана Грозного, — и, "благословив все", сказал:

— Милость Господня вам, чада.

Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что... — "как-то невольно вышло... от торжественных слов, возможно". Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть, но старец не сел, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им все и сказал, "внятно и наставительно":

— Радуйтесь Благовестию. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел сей Крест Господень на Куликовом Поле и волею Господа посылает во знамение Спасения.

— Он, — рассказывала Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить.

— Проще и... глубже... — поправил Среднев, — и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах... затрудняюсь

определить... проникновенную, духовную?..

Они стояли "как бы в оцепенении". Старец положил Крест на чистом листе бумаги — Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе, — и, показалось, хотел уйти, но Оля стала его просить, сердце в ней все играло:

— Не уходите... побудьте с нами... поужинайте с нами... у нас пшенная похлебка... ночь на дворе... останьтесь, батюшка!..

— Вот именно, про пшенную похлебку... отлично помню!.. — подтвердил Среднев.

С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, "настойчиво даже", по замечанию Среднева:

— Нет, вы останетесь!.. Мы не можем вас отпустить так... у нас чистая комната, покойного профессора... он был очень верующий, писал онашей Лавре... с вами нам так легко, светло... столько скорби... мы так несчастны!

— Она была прямо в исступлении, — заметил Среднев.

— Не в исступлении... а я была... так у меня горело сердце, играло в сердце!.. Я была... вот, именно, блаженна!..

Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой, она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал, помедля, "как бы вслушиваясь в себя":

— Волею Господа, пребуду до утра zde.

Дальше... — "все было, как в тумане". Среднев ничего не помнил: говорил ли со старцем, сидел ли старец или стоял... — "было это, как миг... будто пропало время".

В этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, на клеенчатом диване: взяла все чистое, новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее — "вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...", — озарило ее сияние и она увидела — Лик. Это был образ Преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сего дня помнила она сладостное горение сердца и трепетное, от слез, сияние.

В благоговейном и светлом ужасе, тихо вошла она в комнату и, трепетная, склонилась, не смея поднять глаза.

— Что было в моем сердце, этого нельзя высказать... — рассказывала в слезах Оля. — Я уже не признавала себя, какой была... будто я стала другой, вне обычного-земного... будто — уже не я, а... душа моя... нет, это нельзя словами...

— Она показалась мне радостно-просветленной, будто сияние от нее!.. — определял свое впечатление Среднев.

А с ним ничего особенного не произошло: "только на душе было как-то необычайно легко, уютно". Он предложил старцу поужинать с ними, выпить чаю, но старец "как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав":

— Завтра день недельный, повечеру не вкушают. Среднев тогда не понял, что значит — "день недельный".

Оля после ему сказала, что это значит — "день воскресный". По его пояснениям, Оля тогда "была где-то, не признавала себя". Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу: ему хотелось, "чтобы гостю было удобно и уютно". Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора — "вот эту самую" — и удивился, "как уютно стало при лампадке". Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев — это он помнил — ничего не сказал, "будто так и надо", а лишь почтительно поклонился.

Старец — видела Оля через слезы — остановился в дверях, и она услышала "слово благословения":

— Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом.

И благословил пространно, "будто благословлял все". И затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и, в слезах, шептала: "Ах, папа... мне так хорошо, тепло...". И он ответил ей, шепотом, чтобы не нарушить эту "приятную тишину": "И мне хорошо".

— Было такое чувство... безмятежного покоя... — подтверждал Среднев, — что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно, оно называется "воздействием родственной души..." в психологии: волнение Оли сообщилось мне... то есть, ее душевное состояние.

Стараясь не шуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый Крест и приложилась. Ей казалось, что

Крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: "Не тронь, не тронь..." Так Крест и остался до утра, на белом листе бумаги, нетронутым.

Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, "о жизни". Чувствовал, что не спит и Оля.

Она лежала и плакала неслышно. Эти слезы были для нее "радостными и светлыми". Ей "все вдруг осветилось, как в откровении". Ей открылось, что — все — живое, все — есть: "будто пропало время, не стало прошлого, а все — есть!" Для нее стало явным, что покойная мама — с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, — жив, и — с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого — "все родное наше", — есть, и — с нею; и Куликово Поле, откуда явился Крест, — здесь, и — в ней! Не ответ его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это "дано на миг"... боялась шевельнуться, испугать мыслями... — но "все становилось ярче... светилось, жило..."

Ночи она не видела. В ставнях рассвет...

Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из ап. Павла к Римлянам:

— ...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни.
— Понимаете, все живет! У Господа ничто не умирает, а все — есть!
Нет утрат... всегда, все живет.

Я не понимал.

XII

И вот утро. Заскрежетал будильник — 6. Среднев вспомнил — "завтра отыду рано", и осторожно постучал в кабинет профессора... — ? Молчание. Оля сказала громко: "Войди — увидишь: он ушел".

Но он не мог уйти! Оля сказала, уверенно:

— Как ты не понимаешь, папа... это же было явление Святого!..

Среднев не понимал. Он вошел в комнату — постель нетронута, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного:

— Ты ви-дишь?!. И — не веришь?!.

Среднев ничего не видел, не мог поверить: для него это был — абсурд.

Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя — загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека — явлением, близким к чуду, против чего восставало здоровое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала: она пытливо-тревожно, вглядывалась в меня, спрашивая как будто: "И вы, как папа?.." Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры: сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка: рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно.

И я приступил к расследованию.

Только один был выход из кабинета профессора — через их комнату. Они не спали и — не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала, это облегчало уход бесшумный; но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой, — это могло, на первый взгляд, поразить: ушел, а дверь оказалась на щеколде! Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное; а то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой — не их изобретение, это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить.

— Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стойком, и...

Он повел меня в сени и показал:

— Смотрите... поднятая щеколда держится довольно туго... ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь... — и щеколда падает в пробой! — сказал он уже за дверью. — Какое же объяснение иначе?!

Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка: «гость», выходит, уж слишком предупредителен: — не хочет

беспокоить спящих, оберегает их от воров и... догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится!..

Оля упорно повторяла:

— Это было явление!.. Он ушел, для него нет преград.

Из дальнейшего рассказа о том утре...

Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо:

— Завалило снегом?.. Но раз отворилась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуту!..

Среднев и тут объяснял логично: значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти и до снега... мог пройти мимо них неслышно... можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирает калитку, как было с вечера, но и тут... можно было пролезть в малинник — забор развален.

Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно: тут не страдала логика. Для Среднева — чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом Поле, "еще больше усиливает впечатление от старца: это, несомненно, достойнейший человек... может быть, болеющий страданиями народа, иннок высокой жизни..." Пробовал объяснить и мотив "явления":

— Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Эта находка Васи!.. Только вообразите: крест, с Куликова Поля!.. Какой же символ!.. Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что... "ад отвернется"!.. Эффект, психологически, совершенно исключительный. Заметьте тождественность его слов Васе и нам: "Господь посылает благовестие"! Пять веков назад, с благословения Преподобного Сергия, русский великий князь разгромил Мамай, потряс татарщину, тьму... и вот, голос от Куликова Поля: уповайте! — И чудо повторится, падет иго наипугающее, Крест победит его!.. И он принимает на себя миссию, идет к нам, в вотчину Преподобного, откуда вторично и воссияет свет!..

— Не выдумал же он Куликово Поле!.. — воскликнула Олечка — Это же было... и Вася думал о нас, о Троице!.. Как все надумано у тебя!..

Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль:

— Согласен, неясности есть... но!.. — он развел ручками, ища решения. — Я искренно растроган, я преклоняюсь... за идею!.. Готов руку поцеловать у этого светлого пришельца... И этот уход таинственный!.. Какое тончайшее воздействие!.. Обвеять тайной... это же почти граничит с чудом! Если такое... "явление..." бросить в массы!.. Но кто поверит нам, интеллигентам?.. Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным... нашего же поля, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо объявить Крест!.. И она хотела принять этот Крест, бесстрашно!.. Я умолил ее не делать этого: это повело бы лишь к великим бедствиям..."

Эти последние слова, о "принятии Креста", Среднев мне высказал наедине: «следствие» мое продолжалось не один день.

На доводы отца об "идее пришельца" Оля воскликнула:

— Но это ты сам выдумал «идею» и приписываешь ее... кому?!.. И принимаешь это за доказательство! Где же твоя излюбленная "логика"?!. Эта «идея» — обычный революционный прием!.. Как это мелко... в связи со всем!.. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа!..

Нет, чуда Среднев принять не мог. Я... почти верил. Я помню смуту во мне... и необъяснимую мне самому уверенность, что я — близ чуда. Но я хотел — ощупать. Опытном следователе я чувствовал — по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему материалу "дела", — что тут необъяснимое.

— И вы не верите... — с жалеющей улыбкой, болезненной, говорила Оля.

Я сказал, что искренно хочу верить, что "не могу не верить, смотря на вас", что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни "благой силы", что все слова и действия «старца» так поражают неземной красотой и... простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного — испытываю впервые в моей жизни. Говоря так, не

утешить хотел я эту чистую девушку, а искренно слышал в себе голос: "Да, тут — чудо". Но не высказывал этого категорично: мне — это я тоже чувствовал — чего-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти-вере помогла эта девушка: своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею: "Какая она несовременная: извечное что-то в ней, за-земное... такие были христианские мученицы-девы".

Наши обмены мнений продолжались дня три-четыре, нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме-возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о... чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо! Тогда я не сознавал этого: творилось оно неощутимо.

— Ну, хорошо... допустим: было явление, оттуда. Допустим, гипотетически... — будто сдавался Среднев. — Но!.. Не могу я понять, почему — у нас?! Я, конечно, не голый атеист, не нигилист... этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса "Многообразие религиозного опыта", меня чуть ли не оглушившей. Я уважаю людей веры... я лишь скептик, я... ну, я не знаю, кто я!.. Но, почему я — я! — удостоен такого... "высокого внимания"?!.

— Но почему непременно вы упираете, что это вы, вы удостоены... "высокого внимания"?! — невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. — Почему не допустить, что вы тут... только посредник?.. Для чего-то... более важного?..

Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился.

— Вы правы... — сказал он упавшим голосом, — я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я... нет, говорю совершенно откровенно, смиренно: я недостоин, я... — он не мог найти слова и развел руками.

— Па-па, не укрывайся же за слова!.. — болью и нежностью вырвалось у Оли. — Ищет твоя душа, Бо-га ищет!.. Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил!.. Ну, а все, чем ты жил... разве уже не рухнуло?!. Что у тебя осталось?.. Все твои «идеалы» рухнули!..

Чем же жить-то теперь тебе?! Не может рушиться только вечное! А ты не бойся, ты не... — она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось, — и это выплеснулось: что-то блеснуло мне, как вдохновенье, откровенье. По мне пробежало дрожью... и страх, и радость. Я уже знал. Знал, что таившееся во мне, неясное... сейчас вот станет ясным, раскроется. В мыслях... — или в душе?... — светилось и просилось определиться и стать реальностью, было в каком-то взвешивании, в некоей неустойчивости — "Да?.. Нет?.." Светилось одно слово, как живое, — точнее не могу выразить. Это слово было — суббота. Взвешивалось оно, качалось во мне: "Да?.. Нет?.." И я уже знал, что — "да".

Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая... а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о «сроке»: "когда это произошло?" Стараясь подавить волненье, я тут же восстановил, для них: встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом Поле произошла около 3 ч. пополудни, в канун памяти великомученика Димитрия Солунского, в субботу, 25 октября, — в родительскую субботу, Димитриевскую. Это бесспорно-точно: Сухов возвращался от дочери, со ст. Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги... пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление — там. И знал, с неменьшей же точностью, когда произошло явление — здесь.

Оля, смертельно бледная, вскрикнула:

— Да?! Вы точно помните?... В родительскую?! Я... я в церкви поминала... Папа... слушай... па-па!.. — задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу, — там... в продуктовой... записано... и в дневнике у меня... и в твоей!..

И выбежала из комнаты.

Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге, и, вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола... но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем... Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев — руки его тряслись — прочел прерывисто,

задыхаясь: "...200 граммов подсолнечного масла... 300 граммов пшена...", штемпель... 7 ноября..."

— Но это... 7 ноября!.. — крикнул он в раздражении не то в досаде и растерянно посмотрел вокруг.

— Да!.. 25 октября, по-церковному!.. В родительскую субботу!.. В церкви были тогда, 7 ноября... поминала... ты ходил по Посаду!.. — выкрикивала, задыхаясь, Оля. — В ту же субботу, как там, на Куликовом Поле!.. В тот же вечер... больше четырехсот верст отсюда!.. В тот же вечер!.. Па-па!..

Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел, бледный, оплущенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил:

— В тот же... вечер...

Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо.

Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясало спазмами. Подобное «разряжение» я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и — разряжалась, ломая страх. Но тут было сложнее неизмеримо: тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась — чем?.. На это ответить невозможно: это вне наших измерений.

Оля смотрела напряженно и выжидательно, и это было такое нежное, почти материнское душевное движение — взгляд сердца. Я... не был потрясен: я был светло-спокоен, светло-доволен... — дивное чувство полноты. Видимо, был уже подготовлен, нес в «подсознательном» бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы — слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные! Два празднования: там — и здесь, Неба — и земли. Света — и тьмы. И как наглядно показано.

В ту минуту я не высказывался: я светло держал в сердце. Уверовал ли я?.. Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал?! Это держит потайно сердце.

Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радости, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю

определенно одно только: чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало, во мне засияла радость, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу — именно, ликование, упование: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, всепредусмотрено, все — ведется... и все — так надо. И со всем этим — страстная, радостная воля к жизни — полное обновление.

Было и еще чувство, но не столь высокого порядка: чувство профессионального торжества: раскрыл! Будто и неожиданно? Нет, я внутренне уже ждал "самого важного". И оно раскрылось: из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить "самое важное". Это — бесспорный факт.

Чувство профессионального торжества... Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе: я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя: это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни — рождение и смерть. Тут было — возрождение. Это — невидимая победа-тайна.

А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно: никакими увертками «логики», никакими доводами рассудка нельзя было опорочить "юридического акта". Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом Поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально: записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева о... подсолнечном масле и пшене! Какими же серенькими мелочами — вот, что разительно! Сколько же мне открылось в этом!.. Господи, Красота какая во-всем Твоем!..

Со Средневым свершалось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом... смазал, совсем по-детски, слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший:

— Го-споди!..

Оля, в слезах, смотрела на него моляще-нежно.

В Посаде я пробыл тогда недели две, не мог, не хотел уехать. Много нами тогда переговорилось и передумалось...

Особенно поражало нас в нами воссозданном: "суббота 7 ноября", сомкнувшаяся со "святой субботой", ею закрытая. Оля видела в этом "великое знамение обетования", и мы принимали это, как и она. Как же не откровение?! не благовестие?! То, давнее, благовестие — Преподобного Сергия Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу — и через него всей Руси Православной — "ты одолеешь!" — вернулось и — подтверждается. И теперь — ничего не страшно.

Мы переменялись явно, мы этого теперь хотели. Мы ясно сознавали, что это для нас начало только, но какое прекрасное начало! Мы понимали, что впереди — огромное богатство, которого едва коснулись. Но это личное, маленькое наше: тогда, в беседах, нам открывалось все наше, родное, — общее — вневременное и временное, небесное и земное... — какие упования!.. Не для нас же, маловеров, явлено было чудо... И раньше, до сего, идеалисты, дети родной культуры, мы теперь обрели верную основу, таинственно нам дарованную веру. И поняли, оба поняли, что идеалы наши питались ее светом. Во имя чего? Ради чего? Для кого?

Какие были дивные вечера тогда, какие звездные были ночи!.. Какую связанность нашу чувствовали мы со всем!.. Это был воистину творческий подъем.

И стало так понятно, почему в темную годину, когда разверзлась бездна, пытливые испуганные души притекали в эту тихую вотчину, под эти розовые стены Лавры... чего искали.

В светлой грезе я покидал Посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться. И я вернулся. И до зимы приезжал не раз.

Приехал, как обещал, перед Рождеством. Все кругом было чисто, бело — и розовая над снегом Лавра, "свеча пасхальная". Шагая по сугробам, добрел я до глухой уздечки, постучался в занесенный снегом милый голубой домик... — никто не вышел. Соседи таинственно пошептали мне, что господа спешно уехали куда-то...

Очевидно, так надо было.

